

земную ночевку... Не успели поднять крышку, как вошла старшая сестра Федора Александровича и упала ему в ноги, тяжело, надрывно закричав. А сквозь рыдания пробивались слова и больно ранили душу: «Что же ты позволил-то себе, Феденька, что же ты удумал-то без меня. Пошто сиротой оставил, легко ли мне теперь одной-одиношкой век доживать. Вслед за братьями поторопился, унес голубушку свою бедовую, свет ты наш, солнышко красное. Совсем-то я одна осталась бедо-вато-горевать, вас оплакивать, братушки вы мои могучие, голуби сизокрылые... Кто же без тебя, Феденька, утешит добрым словом меня, кто бабе свет откроет в пучине мирской...»

И в причитаниях вновь явилась мне его жизнь. И подумалось: да одной ли Марии Александровне слово его было светом и радостью? Вспомнились дни летние, теплые, начало июля, дни перед съездом писателей. Он готовился к выступлению, волновался, мы перечитывали еще и еще раз отпечатанный текст, и он опять придирчиво проверял, взвешивал: «Это мое слово о слове. Тут не только аргументы нужны, но и снайперская точность, меткость. Само слово, к делу приставленное, должно разить». Потом я слушал эту речь в Большом Кремлевском дворце, слушал, как тысячи людей в зале, затая дыхание... Да, это было замечательное, библейское по мудрости и авантюристическое по страстности слово о всемирном в человеческом мире слова, которое еще может спасти мир от надвигающейся катастрофы. Думал он широко, глобально, его слово помогало миру прозревать...

Вместе с Людмилой Владимировной сидим у гроба, в холодной комнате, глядя, ваясь, словно погружаясь, в застывшее в болезненной немоте лицо. Так и встретили рассвет, ранний, серенький, тускло пробивающийся через занавешенные окна. А думалось почему-то светло...

Я РЕШИЛ отдохнуть, хоть короткий часок. Людмила Владимировна у калитки указала мне на большой дом через дорогу: «Пойди к Анне Ивановне, она любила Федора. Наверняка и тебя приветит...»

Так оно и случилось. Анна Ивановна пригласила в комнату, в лицо ударило бла-гоприятное тепло, обволокло разом... Хозяйка суетливо и заботливо задвигалась, приговаривая: «Может, померзли, ветры-то у нас холодные, еще тепла не видели. Вам, должно быть, с непривычки такие Севера. Полезайте на печку, протопила, думаю, дай тепла наготовлю. Люди такую дорогу за один день проделают... Вот куда вас Федюшка завел, куда заманил своим словом наказным... А последняя воля у нас на Руси — воля святая. Не нами заведено, праотцы о том заботились...»

Она ловко и быстро расстелила постель, аккуратно подоткнув углы одеяла. Я извинился еще раз, что побеспокоил...

«Бросьте леж, я ведь не спала. Уж который час лежу с открытыми глазами, и сон не идет. Все о нем думаю. Мы с вечера-то на улице стояли, поджидали, потом намерзлись да и разошлись. Кто-то сказал, что по Карпогорам вы долго шли... Только отогрелась, вдруг бабы-соседки кричат: «Едут!» Я, бедовая, навстречу как к живому выскочила, такое вот чувство было... Легко ли сжиться с мыслью-тяжестью? Мы ведь где-то по теплу его на лето в Верколу ждали. А тут надь-ко. Гроб везут. Вылетела с крыльца да прямо в этот свежесрубленный большой ящик и уперлась. Завопила, как оглашенная от неожиданности. Да уж чего теперь...»

Она умоляла, предупредительно вышла в сени по каким-то своим заботам, остязив меня одного. Я нырнул под теплое, прогретое устойчивым комнатным теплом одеяло и затаился. Скоро и она расположилась ко сну. Но, чувствую, не спит и первой не заговаривает, не желает, видно, тревожить. И я сам спросил ее о Федоре Александровиче. И вновь полилась ее небойкая речь:

«Я уж все разговоры-то наши с ним перепомнила. Я ведь еще молодой была, когда он с фронта приехал... А потом... Всего, пареня, не пересчитаешь. Кто знал-ведал тогда, что судьба у него такая выйдет, высокая и мятежная... Вон как взлетел мужик, а остался наш и до мойки навечно вернулся. Отмаялся-отбедовал... В деревне-то ведь он жил попросту. Бывало, через улицу кричит: «Ты что-то, Анна Ивановна, возгордилась. И уж глаз не нажешь...» Ну и мужик, вон как дело повернет, будто сам без занытий сидит. Да и лишний раз чего нос совать... А он все обижался, и до чего беспойный, до чего говорючий был! Все расспросит, все разведает, что и как, в чем утеха сердцу и печаль душе. И в деревне, уж если идет по улице, никого без внимания не оставит. Свойчатый был человек. Сам первый со всеми за руку, говорит ласково, смеется открыто, как ребенок... Уж какая слава и тому времени на его плечи легла, а по нему и не скажешь... Потом уедет зимовать в Ленинград, с нами его книги. Опять же радио, телевидение, все нашего Феденьку хвалит, все о нем говорят как о мудреце. Тут нам и опять честь: наш, с нами только что летовал...»

Я слушаю ее замеры и свою думу вслед за ее речью веду... Она, словно спохватившись, вдруг совсем тихим голосом спросит: «Не спите ли вы?» Я успокаиваю ее и расспрашиваю, как ему тут жилось, чем он занимался, хорошо ли ему тут было...

«Пошто нехорошо-то, хорошо, уезжал-то всегда со слезами, мало пожил, тяже-

ло отрывался от родной земляшки, душой болел, тоскливый ходил. Такой, паренек, тоскливый, что глянешь на него — и сердце вспухнет от жалости. Возле Пинеги холодной любо ему было, ой как любо... Душа его тут отдыхала, не печалилась...»

«А писал-то ведь горько, Анна Ивановна, таяко, будто камень с души снимал...»

И она сразу же бойко и напористо откликнулась:

«Что же, паренем, мало мы бедовали? Да и сам он слезы-то на кулак ссызмальства намазывал. Вдвоем дети в лихую-то годину — дважды сироты. Он этого горюшка сполна хватил, потому как младший, в два года осиротел... Хорошо — Михаил Александрович, знавали ли его? Не знавали. Добрый был человек, светлая головушка. Он приметил в Федоре-то живость ума и способность и учению. И настоял на своем. Вот Федя-то и двинулся. А Михаил всю жизнь в деревенской стороне прожил. А видишь, в младшем не ошибся. Таких-то ребят и столица не родит... Опять же и судьба у Федора бережливая была. Экая война его уберегла — поналечила, а все не смерть... Все живой, и нам сюда приехал в сорок втором году... Как тяжело жили. Сколько горя кругом было — на всю оставшуюся жизнь всех русских людей того горя хватит. И он его не краем обошел, в самом пекле был...»

Голос ее сорвался, жалобно обмяк, она тяжело всхлинула, помолчала.

«Так как же он мог писать, если сам все прожил? Горько, только горько, чтоб народная беда дольше помнилась... Так, паренек, правда-то и складывается...»

Наступила тишина, звонкая, резкая, утренняя. В комнате совсем посветлело.

«Вот и поговорили мы, отвели душевную, помянули Феденьку добрым словом, обмыли слезой... Он ведь о нас, деревенских, завсегда думал-горевал, заботился. Как хотел библиотеку построить, пусть хоть внуки книги читают в полную сласть... Так не дали наши областные командиры-начальники, по-всякому вредничали-мешали. Обидели мужика ни за что... Зря вы, деревенские, по городам-то живете, счастье-то ваше здесь, и власть бы тут ваша была!..»

Голос ее угасал и скоро совсем пропал, неожиданно я провалился в беспмятство и уж ничего больше не слышал... Проснулся, когда по радио куранты ударили и раздался гимн... Анна Ивановна растапливала русскую печь, кипел на столе электрический чайник и уж была выставлена закуска к чаю. «А мне жалко будить, забот-то у вас сегодня делать не переделывать...» Провожая меня на крыльцо, посоветовала: «К реке сходите, за Федю, он-то уж к ней не добежит, а попрощаться надо... Он любил реку в любое время года...»

Н А ОТКРЫТОМ месте резко задул северный ветер, вырвавшийся из-за мыса, разом выдул тепло из одежды, охолонул, застудил. Пришлось прибавить шагу. Абрамов знавал такое ветренное непогодье...

Сколько раз, бывало, в зимнем и осеннем Ленинграде, долгими часами колесили мы с ним по неским набережным. Он никогда не отворачивался от ветра, говорил все так же раздумчиво, лишь речь становилась жестче, напряженнее, и мысль энергичнее набирала силу...

О чем только мы не говорили в эти часы, но больше, конечно, о Севере, который для обоих был и радостью, и болью, и самой пылкой юношеской любовью. Мы были с ним соседями — от его Верколы до моего Койнаса километров сто. По местным масштабам — не расстояние. И оба недолюбили Север, оба несли в душе непримиримое, еще недовысказанное, оба слишком рано оставили его и мыслью больше тянулись к нему, нашему батюшке... Он мечтал написать могучую книгу о русском Севере, со всей сложностью, со всеми бедами и противоречиями его освоения. Немало он посидел в архивах, оснастился, изготовил все для дальнего плавания. Да и в нем самом все приспело для великой работы. Он увидел дальние горизонты нашей истории, ум его набрал силу для обобщения вековых, охватных... И нам, северянам, затая его была больно близка, долгожданна.

Ведь еще Ломоносов, размышляя о великом будущем родного края, предвещал открытие «прохода северным Сибирским океаном в Восточную Индию». Он снаряжал поисковые экспедиции и мечтал написать книгу об этом открытии. И хоть экспедиции терпели неудачи, он твердо верил в дорогу сквозь льды. Северяне два долгих века трудились самозаванно, бесстрашно, сколько буйных головок положили в арктических водах, прежде чем в 1932 году под командованием архангельского капитана Владимира Ивановича Воронина ледокольный пароход «Сибиряков» за одну летнюю навигацию прошел морями Ледовитого океана от Белого до Берингова, осуществив давнюю, дерзкую мечту помора Михаила Васильевича Ломоносова. Только книга о той ледовой, полной опасностей дороге так и осталась ненаписанной.

Абрамов был первым из северян за последние полвека, кто мог бы это сделать... Но и ему не привелось... Теперь должен явиться третий, чтобы выносить волю двух старших великих сынов Севера. И нам остается лишь надеяться, что случится это не через двести лет...

В глаза ударила серебристой рябью Пинега. Шел лесосплав. Вековые сосны, словно щепки, подхваченные стремительным потоком, неслись вниз по течению. По всей длине реки на 600 километров растянулась древесная струйка. Один миллион двести тысяч кубов вынесет Пинега за месяц-два к устью, к плотине. Поразительные масштабы. Сколько до-

рог, машин, людей, горючего понадобится — вывезти этот лес из труднодоступных районов Пинежья.

Но Федор Александрович справедливо сокрушался, что лес-то, конечно, лесом, а семуна любит чистую воду, без топляков. Как же тут может быть без топляков, когда от плотины забивают реку лесом на всю глубину до двадцати километров протяженностью. Какая уж тут чистая вода.

«Вот и возьми, — говорил он, — что важнее, сплавить лес по баснословно дешевой цене или сохранить Пинегу и семуна нерестилища. Рыба исчезает... Да, как только человек вторгается со своими машинными силами, не считаясь с возможностями природы, он обязательно уничтожает что-то невосполнимое...» Эта мысль всегда очень тревожила Федора Абрамова. Теперь его уж нет, а поток бремен все так же неумолимо шестит на быстрой воде, стучит на крутых поворотах об оградительные боны и мчит к устью на большую двинскую воду... И кто его остановит, кто его прервет...

«Эй, мил-человек, помоги!» Я оглянулся, оказалось, что обращались ко мне. В лодке, подхитившей к берегу, раньше времени заглох мотор, и ее стало относить по течению. Женщина, стоявшая в носу, бросила якорек, но он не зацепился и пополз по песку в воду. Я перехватил цепь и потянул ее на себя вместе с лодкой. Когда она ткнулась в берег, укрепил якорек за кочкой.

В лодке были две женщины, за мотором мужчина лет за пятьдесят, обветренный, с задувевшей красноватой кожей на лице. Он по-северному тепло улыбнулся: «Вот и хорошо, вот и спасибо, мил-человек... Давай, жонки, вылезайте. Тут берег грунтовый, ноги не замочите...» И, подняв винт из воды насухо, вышел из лодки. Одет он был празднично, в добром, ладно сшитом пальто, костюме, при черном галстуке и в черных начищенных ботинках. «Не скажете ли, гроб-то стоит в клубе?» Он обратился ко мне так естественно и просто, словно и сомнений не имел, что кто-то в Верколе об этом не знает. «Да через часик уж будет там...» «Ну и хорошо, ко времени послели. Я ведь знавал Федора Александровича, знавал, беседовал с ним не однажды. Горяч был в споре, жаден до правды, крут, схватился, бывало, как петухи, впору разнимать. А он все жмет, что мы сами, селяне, должны быть не льком шиты, понапористей должны жить и работать. Я ему супротив, про начальников плохих, про условия местные, бездорожье, задвинутость нашу, про безлюдье, про слабинку в молодежи, про склонность к рюмкованию... Он закипит, закипит... А вишь как, мил-человек, и не сыскали мы с ним всей правды. Прощайте надю...» Он круто повернулся и зашагал торопливо вслед за женщинами, так что я и спросить не успел, как величать его... Но в том ли суть...

«Как же сыскать ее, правду? — думал я. — Даже Толстому и Шолохову, при долгом их веке, она лишь приоткрылась... Вот и сыщи ее, правду народную, что с истиной вровень стоит...»

Глядя на быстро уносящуюся гладь воды, я невольно вспомнил Пицунду. Дом творчества писателей, наши дальние прогулки вдоль моря, вечерние тихие сидения на балконе, уютные и милые чаепития. Опускались синие сумерки на отроги гор, и вместе с надвигающейся темнотой приходило безмолвие... Все затихало с уходом солнца. И час добрый природы умиротворенно наслаждался покоем после дневного палящего зноя... Мы читали вслух критические заметки Пушкина, наслаждаясь его глубокой мыслью, точностью слова. Восторгались, как он высоко ценил Ломоносова... «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей... он все испытал и все проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия... и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка...»

Федору Александровичу особенно понравилось, что «он все испытал и все проник»: «Ты знаешь, грандиозно, так метко и кратко мог только Пушкин сказать. Истинно, истинно сказал он о нашем Ломоносове...» И потом, спустя время, он не раз совершенно неожиданно возвращался к этой пушкинской мысли. «Не возблагодарило еще отечество во всей полноте заслуги Михаила Васильевича. Да и мы, северяне, маловато для этого делаем. — И, помолчав, добавил: — Даже музей построить не можем... А Ломоносов — величайшая вершина в российской культуре. Ему было труднее, чем нам, а он одолел...» — глухо, недовольно и даже как-то резко закончил он, — видно, отнес это недовольство к себе, к своим мыслям и размышлениям...

Я поднялся берегом вдоль реки до конца Верколы и уже улицей, на которой был и дом Абрамова, пошел к клубу. На каждом крыльце, как я заметил, в дверном проеме стоял батонок — знак, что хозяев нет дома. Все были в клубе. Я шел пустынной, осиротевшей улицей, мимо опустевших домов. Веркола прощались со своим летописцем.

П ОЗЖЕ, когда солнце пришло в зенит, ветер послушно стих, природа замерла в ожидании. На ярко высвеченном угоре в изголовье уснувшего художника зазвучало последнее, прощальное слово. Владимир Солоухин и Василий Белов, Владимир Крупин и Владимир Личутин, Сергей Плотников и Шамиль Галимов говорили о духовнике, открывшем в деревенской жизни России истоки общечеловеческой нравственности, о могучем таланте.

А над головой, высоко в небе парили журавль с журавушкой, и слышен был тихий, курлыкающий голос озвученного неба, готового торжественно принять освободившуюся от страданий душу. Когда первые комья земли ударили о крышку гроба, журавли, расправив крылья, замерли на миг над угором, могилой, потом сделали плавный круг, другой, третий и медленно поплыли к солнцу, за Пинегу, за белый полуразрушенный монастырь, унося на крыльях память о пинежском духовнике...

Вот и отлетела его душа, высоко взмыв над родной луговиной, рекой и дальним заплесовым лесом, где она найдет успокоение среди журавлиных гнезд, в уединении...

После недолгих поминок той же дорогой, только теперь не сумеречной, а насквозь пронизанной солнцем, вместе с Михаилом Григорьевичем Поздеевым, первым секретарем Карпогорского райкома партии, мы возвращались в райцентр. Он много сделал в эти скорбные дни, чтобы земляки с достоинством проводили Федора Александровича. Да были они не чужие друг другу люди.

Это он, Михаил Григорьевич, попросил Абрамова написать знаменитое, нашумевшее на всю страну письмо «Чем живем-кормимся» землякам-пинежанам летом 1979 года. Поздеев уж тогда секретарил на Пинежье двадцать три года. Не один день и не один вечер провели они в беседах. И Михаил Григорьевич — коренной пинежанин, секретарь из своих мужиков, — не таясь перед писателем, говорил, рассуждал, думал обо всем, что его заботило, радовал, что ложилось черной тенью на сердце. Письмо в готовом виде они читали вместе, задумывая, как поднять земляков на дело, освободить от обузы обленившихся души. Михаил Григорьевич, предвидя горькие суды-пересуды, со свойственной ему смелостью встал рядом с Абрамовым, приняв груз ответственности и на себя.

И я об этом письме говорил с Федором Александровичем немало, спорил, и даже на какое-то время мы поссорились. Неистов он был в утверждении своего, неистов и «жесток, как правда». И вообще, когда он сердился, мне как-то всегда было не по себе. В такие дни, месяцы я жил с тяжелым укором, мучительно переживая непогоду наших отношений. Мы с ним однохарактерные были, горячие, все настоящее, человеческое — нам в боль или в радость. Нелегко ему жилось, а стало быть, не могло быть легко и людям, его окружавшим. Вот уж что умел он делать, так это повернуть наши глаза внутрь, в душу, к совести.

А как отнеслись пинежане к письму «Чем живем-кормимся», опять же узнал от Анны Ивановны, приоткрывшей мне на ночлег. Я, собственно, не собирался ее спрашивать об этом, за переживаниями все отодвинулось, только как-то мимоходом сказал, что чистая у них деревня.

«Да ведь как Федор-то застыдил нас на весь мир. — она мягко улыбнулась, — не убоился даже нашего деревенского норову и неприветного суда. А мы, одумавшись, окипел от первой горячки, за дело взялись, на начальство зашумели. Что же, рук у нас нет иль спины разогнуть не можем? Все можем, только вот чего-то ослабились, тут словцо знаменитого земляка — укор самый больной. А как Веркола украсилась нашими же трудами, так и на душе повеселело, и обиды на Федора прошла. А поначалу-то напыжились: что же это он своих-то добро бы на район, а то ведь молва-то покатила, э, куда... И глазом, и умом не охватишь... А хотел-то ведь мужик все сделать ладом, по душе нам хотел посоветовать: мол, не будьте упырями, не глядите на начальство, сами свою жизнь обустройвайте... Теперь уж все — покойничек, и не возмневается, и не наставит нас больше на ум праведный. Недолго были мы нашего Федора Александровича, маловато слов ему сказали хороших, ласковых... Трудный был корешок, к похвалу недочувствительный...»

Голос ее обмяк, сострадательные, жалостливые нотки оборвались, приглушенные уголкем платка...

Сколько слез еще прольет Веркола, оплакивая своего неистового Федора, сколько еще невысказанных слов произнесет на его могиле, теперь ставшей неотделимой частью деревни, а может, в ее зияющей раной, местом уединения, успокоения, утешения...

Продрав свой земной путь, он вернулся сюда навечно, соединив себя телом и духом с родным домом, родной землей...

ВЕРКОЛА — АРХАНГЕЛЬСК — МОСКВА